**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гавриловская средняя школа им. Г. Крысанова»**

# **Исследовательская работа на тему: «Воспоминания о блокаде»**

**Авторы:**

Тишаков А.А., 10 класс Сулейменова М.В., 10 класс

Руководитель: Тишакова Г.В.

Объединение: Педклассы России

**Гаврилово, 2024 год**

# **Исследовательская работа на тему: «Воспоминания о блокаде»**

**Содержание**

1. **Введение.**
2. **Основная часть. Обобщенные материалы из дневника Юрия Рябинкина.**
3. **Заключение.**
4. **Приложения**

**Введение**

Наша исследовательская работа посвящена поиску информации об участниках Великой Отечественной войны, ставших очевидцами блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Цель работы: собрать документальную информацию о жителях блокадного Ленинграда в соответствие с требованиями конкурса и составить интервью с воображаемым героем на основе исследования.

Задачи исследования:

1. Поиск, отбор и систематизация информации по теме исследования.
2. Создание письменного текста творческой работы.
3. Размещение материала в сети Интернет.

**Основная часть**

Для сбора информации были привлечены материалы сети Интернет, а именно дневники жителей Блокадного Ленинграда и воспоминания очевидцев.

Мы изучили жизнь разных людей, ставших очевидцами событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и собрали много интересного материала.

В ходе исследования выяснили, что каждый из жителей Блокадного города переживал трудности этого периода по - своему.

Для выполнения творческой работы выбрали дневник Юрия Рябинкина.

**Обобщенные материалы из дневника Юры Рябинкина.**

Сведения об интервьюируемом

1. ФИО – Юрий Иванович Рябинкин  
2. Дата и место рождения – 2 сентября 1925  
3. Место проживания в годы блокады (Ленинград, область) – Ленинград, Ленинградская область  
4. Время нахождения в блокадном городе – 6 месяцев (от начала войны до смерти).

Начало войны/начало блокады

- Как Вы узнали о начале войны? О начале блокады?

- Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел... 12 «юнкерсов». Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговорился с ней. Потом откуда-то прибежала мама, прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бомбежки оказался весьма плачевный.

- Чем Вы занимались на момент начала блокады Ленинграда?

- В начале блокады я решил, чем буду заниматься пока идёт блокада. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы. Через год меня берут в армию. Убьют — не убьют. После войны иду в кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей мое решение. Все остальные исходы я продумал и отказался от них.

- В будние дни я ходил в школу с 8 утра до 7 вечера — играл в очко. Проиграл 10 копеек. Но это еще ничего. Пообедал — жареный поросенок с чечевицей и студень.

- Кто из Ваших близких проваживал вместе с Вами в это время?

- Юрий Рябинкин жил с мамой и сестрой Ирой.

- Была ли возможность эвакуироваться из блокадного города?

Об эвакуации Юрий мечтал с начала блокады, но его мечта не осуществилась.

- 13 декабря Мама, вернувшись из райкома, сообщила, что мы занесены в список эвакуирующихся на автомашинах в колонну Наркомстроя, которая по обещанию райкома да райсовета пойдет 15 — 20 декабря. Но со временем я потерял веру в эвакуацию. Она исчезла для меня. Весь мир для менязаменился едой. В декабре мы так и не эвакуировались. Уже в январе говорили, что эвакуация будет лишь весною, когда пойдут поезда по Северной дороге, а до весны мне не дожить.

- 2 декабря 1941 года. А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти. Мама боится уже ехать. „При­едешь, — говорит она, — в незнакомый край…“ — и т. д. и т. п..

Условия жизни в осажденном Ленинграде

- Что представляло наибольшую сложность в быту?

- Ох, как нехорошо на сердце... Мама сейчас такая грубая, бьет порой меня, и ругань от нее я слышу на каждом шагу.

- Что Вы чувствовали, слыша вой сирены? Спускались ли в бомбоубежище?

- 9 сентября. Пишу ровно в 12 ч. ночи. За весь истекший день — 11 тревог! Да каких! По часу, по два. Самая жуткая тревога была последняя, ночная. Сильно бомбили Октябрьский район. Бомбы рвались и на Красной улице, и на Театральной площади, и у моста Лейтенанта Шмидта. Оттуда пришел очевидец весь в грязи — закидало землей — и рассказывал. Днем во время тревоги над нашим домом сбили один самолет. Летчик выпрыгнул с парашютом прямо в город. Не знаю, что с ним. Наверное, поймали. В спецшколу не ходил, в школу не ходил. Перерывы между тревогами был.

- Сирена. Час — тревога. Отбой. Перерыв — десять минут. Опять тревога. Так можно вконец измучить население. А у нас в доме даже нет бомбоубежищ.

- Какая минута, день, событие были самыми трудными, тяжелыми, опасными?

- 6 января 1942... Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит — я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида — вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы (...) из меня уходят, уходят, плывут... А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я..

- Что составляло Ваш обычный ежедневный рацион?

- В школьные дни брал обед в столовке треста: щи да свекла, мог пообедать жареным поросенком с чечевицей и студнем.

- Поначалу блокады мама покупала пряники, так они сделаны из овса да немножко сахара. Хорошо, что такие. Жить по такой норме я согласился бы на время, хотя бы года на три, но, чтобы не уменьшать норм, а ведь это обязательно будет. Позже еды дома не было никакой, кроме 100 г. хлеба, которые мама выменяла на пачку табаку.

- Продолжались ли во время блокады занятия в школах?

- 6, 7 ноября. Занятия в школе продолжаются, но мне они что-то не нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. На литературе интересен тот факт, что ребята рассказывают образы из «Мертвых душ» по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали «Мертвые души...

- 1 декабря. Наступил новый месяц. Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе в 8 ч. утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без двадцати.

- Что Вам, Вашим близким помогло выжить в блокаду?

- Юрий Рябинкин на пережил блокаду.

- Была ли взаимопомощь? В чем она заключалась?

- Меня поражала перемена в поведении Анфисы Николаевны. Так, например, в один из дней ноября она дала нам тарелку пшеничной каши и блюдце сухарей, не взяв за это ничего. Часто приносила из столовой треста какао, теперь оно исчезло. Я ей тоже помогал. Доставал для неё повидла, она давала мне за это грамм 50 его. В общем, я сейчас серьезно чувствовал её помощь. Анфиса Николаевна дает нам каждый день штук восемь сухарей, когда-то давала побольше еды, например, кусок конины и бутылку растительного масла. Если бы мы прожили еще полгода вместе, быть может, мы бы совсем подружились с нею.

- Расскажите, что Вы чувствовали, слыша по радио звук?

- Когда я услышал сообщение Молотова по радио о начале войны, я просто, знаете, сел от изумления. Вот это новость! А я даже и не подозревалтакой вещи. Германия! Германия вступила с нами в войну! У меня голова пошла кувырком. Ничего не соображает».

- Какое событие запомнилось как радостное?

- Счастье приносили воспоминания о мирной жизни.

Вера в Бога

- Верили ли в Бога Вы и Ваши близкие до войны? Повлияла ли война на отношение к религии? Каким образом?

- Юрий Рябинкин верил в Бога, особенно эта вера усиливалась, когда он думал об эвакуации и победе над фашистами.

«Только вера в бога, только вера в то, что удача не оставит меня и нас троих завтра, вера на ответ Пашина в райкоме — «ехать» — только это ставит меня на ноги. Если бы не это, я погиб. Но я хочу остаться, вернее, хотел бы, да не могу... Только завтрашний отъезд... Я сумею отплатить хорошим по отношению к Ире и к маме. Господи, только спаси меня, даруй мне эвакуацию, спаси всех нас троих, и маму, и Иру».

- Когда надежды покинуть город не осталось, вера стала угасать. Юра Рябинкин потерял присутствие духа и отдавал все силы на сопротивление голоду и холоду. 6 января 1942 года его дневник обрывается.

Послесловие

К сожалению, жизнь Юрия Рябинкина была недолгой. Он не пережил блокаду, но благодаря его дневнику мы смогли

* проникнуться атмосферой того времени.
* узнали исторические факты о блокаде из уст очевидца.
* поняли, насколько тяжело было пережить это время.

Людям требовалась не только еда или тепло. Главное - они нуждались в поддержке друг друга. Именно поддержка помогала сохранить присутствие духа, мужество, стойкость. Люди могли продержаться только вместе. Это стало главным уроком, который мы усвоили в результате нашей работы.

Вывод: *Какими трудными ни были бы времена — единство людей — основной источник силы и надежды в лучшее будущее.*

**Заключение**

Мы рекомендуем познакомиться с этим сложным периодом истории нашей страны каждому школьнику и подготовили свой список фильмов и книг, повествующих о блокаде Ленинграда.

Фильмы о блокаде Ленинграда:

«Крик тишины» — российская военная драма, экранизация режиссера Владимира Потапова.

«Зимнее утро» — советский художественный фильм 1967 года, поставленный режиссёром Николаем Лебедевым.

Оба фильма сняты по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония».

Книги:

Виктор Голявкин «Девятьсот дней мужества»,

Елена Верейская «Ленинградская поэма».

Также в *приложении* вы найдете документальные источники из сети интернет: дневники и воспоминания жителей блокадного Ленинграда.

**Приложение 1.**

**Блокадные дневники (Отрывки. Из дневника Юры Рябинкина)**

*Страшная блокадная зима 1941–1942 годов в записях ленинградских школьников и взрослых.*

*Подготовили* [Наталия Соколовская](https://arzamas.academy/authors/475), [Евгений Бунтман](https://arzamas.academy/authors/359)

Источник: https://arzamas.academy/materials/1464

***Юра Рябинкин***

***8 сентября 1941 года***

«День тревог, волнений, переживаний. Расскажу все по порядку.

Утром мама прибегает с работы, говорит, что ее посылают на работу в сов­хоз, что в Ораниенбауме. Ей пришлось бы оставить меня и [сестру] Иру одних. Она пошла в райсовет — ей дали там отсрочку до завтра. Потом мы догово­рились о спец­школе. <…> Когда я вернулся домой, мама уже пришла. Она сказала мне, что, возможно, меня примут. Но я очень и очень сомневаюсь. Затем мама пошла опять куда-то.

И тогда-то началось самое жуткое.

Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел… 12 „юнкер­сов“. Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговорился с ней. Потом откуда-то прибе­жала мама, прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бом­бежки оказался весьма плачевный. Полнеба было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает. Дым, дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него.

Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда

Сейчас настанет ночь, ночь с 8 на 9/IX. Что-то эта ночь принесет?»

***25 сентября 1941 года***

«Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы. Через год меня берут в ар­мию. Убьют не убьют. После войны иду в кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей мое решение. Все остальные исхо­ды я продумал и отказался от них.

Кроме того: решил тратить на еду себе начиная с завтрашнего дня 2 рубля или 1,5.

Мое решение — сильный удар для меня, но оно спасет и от другого, еще более сильного удара. А если смерть, увечье — то все равно. Но это-то именно и бу­дет, наверное, мне. Если увечье — покончу с собой, а смерть — двум им не бы­вать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира.

Итак, из опасения поставить честь на карту я поставил на карту жизнь. Пыш­ная фраза, но верная».

***1 и 2 октября 1941 года***

«Мне — 16 лет, а здоровье у меня, как у 60-летнего старика. Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была этим сильно удручена.

Черт знает какие только мысли лезут в голову. Когда-нибудь, перечитывая этот дневник, я или кто иной улыбнется презрительно (и то хорошо, если не хуже), читая все эти строки, а мне сейчас все равно.

Одна мечта у меня была с самого раннего детства: стать моряком. И вот эта мечта превращается в труху. Так для чего же я жил? Если не буду в В[оенно]-М[орской] спец­школе, пойду в ополчение или еще куда, чтобы хоть не беспо­лезно умирать. Умру, так родину защищая».

***14 октября 1941 года***

«Сегодня дома безобразная сцена. Ира закатила истерику, что я вот ел в сто­ловой треста, а она даже тарелки супа не съела в столовой — мама ей говорит, чтобы она успокоилась. Мне в то же время говорит, что Ире давали борщ в сто­ловой и фасоль со шпиком, а Ира говорила, что ее от них тошнит и не стала есть. А съела оставшиеся полплитки шоколада, и только. Сама не ест и на меня злится! Я, говорит, голодная хожу! А кто ей мешает пообедать? Мне уже мама начинает говорить, что надо привыкнуть к мысли, что если накормят человека днем тарелкой супа, то и будь доволен. А если мне к этой мысли не привык­нуть?.. Я не ем даже половины, четверти того, чтобы себя насытить… Эх, война, война…

Сейчас хмурая пасмурная погода. Морозит, идет снежок».

***25 октября 1941 года***

«Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. Инте­ресно, в пивных дают лимонад, приготовленный на сахарине или натуральных соках?

Эх, как хочется спать, спать, есть, есть, есть… Спать, есть, спать, есть… А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров — ему захочется еще чего-нибудь, и так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уж об одном хлебе…

<…>

Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести. А я вести его буду. Не при­дется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, узнает, что за человек такой был на свете — Рябинкин Юра, посмеется над этим чело­ве­ком, да…»

***29 октября 1941 года***

«Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за недоедания. Анфиса Николаевна сегодня вечером проронила интересные слова: „Сейчас все люди — эгоисты, каждый не думает о завтрашнем дне и поэтому сегодня ест как только может“. Она права, эта кошечка.

Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды   и т. п. Неужели эта посылка — вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу. Ну что же мне делать?

Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях заняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба.

Сейчас я бы должен был прочесть снова рассказ Джека Лондона „Любовь к жизни“. Прекрасная вещь, а для моего сегодняшнего настроения как нельзя более лучшая. Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние. Даже хлеба не прибавили. Мама мне сказала, что, если даже немцы будут отбиты, нормы будут прежние…

Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, рук мылом не мою, не переодеваюсь. В квартире у нас холодно, темно, ночи проводим при свете свечки».

***6 и 7 ноября 1941 года***

«Занятия в школе продолжаются, но мне они что-то не нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. На литературе интересен тот факт, что ребята рассказывают образы из „Мертвых душ“ по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали „Мертвые души“…

Оказывается, рисовой каши больше у нас не осталось. Значит — 3 дня буду сидеть голодом полнейшим. Еле ноги буду таскать, если буду жив-здоров. Опять перешел на воду. Распухну, ну да что же… Мама заболела. И не на шутку, раз сама признается в своей болезни. Насморк, кашель с рвотой, с хрипом, жар, головная боль…

Я тоже, наверное, заболел. Тоже жар, головная боль, насморк. Все из-за того, по всей вероятности, что, бывши на школьном дежурстве, мне пришлось пройти через три двора без пальто и шапки. А дело было в полночь, мороз…

Учеба мне почему-то сейчас в голову не лезет. Совершенно нет желания учиться. Голова одними мыслями о еде да о бомбежках, снарядах занята. Вчера поднял корзину с сором, вынес во двор и еле обратно на свой 2-й этаж взобрался. Устал так, словно 2 пуда волок целых полчаса, как кажется, сел и еле отдышался. Сейчас тревога. Зенитки бьют вовсю. Бомб несколько также было. На часах — без пяти 5 вечера. Мама приходит в начале 7-го».

***9 и 10 ноября 1941 года***

«Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном — мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба… Мама мне каждый день твердит, что она с Ирой ест по 2 стакана горячего, с сахаром чая, по полтарелки супа в день. Не больше. Да еще что тарелку супа вечером. <…> Ира, например, вечером даже отказывается от лишней порции супа. А мне они обе твердят, что я питаюсь как рабочий, мотивируя тем, что я ем 2 тарелки супа в столовых да побольше, чем они, хлеба. Весь характер мой почему-то сейчас круто изменился. Стал я вялый, слабый — пишу, а рука дрожит, иду, а в коленках такая слабость: кажется — шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь».

***28 ноября 1941 года***

«Был в тубдиспансере. Меня отправили на рентген и на анализы. Что будет дальше — не знаю.

Сегодня буду на коленях умолять маму отдать мне Ирину карточку на хлеб. Буду валяться на полу, а если она и тут откажет… Тогда мне уж не будет с чего волочить ноги. Сегодня дневная тревога опять продолжается что-то около трех часов. Магазины закрыты, а где мне достать картофельной муки и повидла? Пой­ду по окончании тревоги порыскаю. Насчет эвакуации я потерял надежду. Все это одни лишь разговоры… В школе учиться брошу — не идет учеба в голо­ву. Да и как ей пойти? Дома голод, холод, ругань, плач, рядом сытые И-вы. Каждый день так удивительно похож на предыдущий однообразностью, мыс­лями, голодом, бомбежкой, артобстрелами. Сейчас выключилось электриче­ство, где-то, я слышу, жужжит самолет, бьют зенитки, а вот дом содрогнулся от взрывной волны разорвавшейся неподалеку бомбы… Тусклая, серая погода, белые, мутные, низкие облака, снег на дворе, а на душе такие же невзрачные серые мысли. Мысли о еде, о тепле, об уюте… Дома не только ни куска хлеба (хлеба дают теперь на человека 125 г в день), но ни одной хлебной крошки, ничего, что можно съесть. И холод, стынут руки, замерзают ноги…

Сегодня придет мама, отнимет у меня хлебную Ирину карточку — ну ладно, пожертвую ее для Иры, пусть хоть она останется жива из всей этой адской <*нрзб.*>, а я уж как-нибудь… Лишь бы вырваться отсюда… Лишь бы вырваться… Какой я эгоист! Я очерствел, я… Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. Позавчера лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадно­стью смотрел, как мама делит кусочек конфетки <*нрзб.*> и Ирой, поднимаю ру­гань из-за каждого кусочка, крошки съестного… Кем я стал? Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь, хватило бы для меня, но это не будет. Не будет эвакуации, и все же какая-то тайная надежда в глубине моей души. Если бы не она, я бы воровал, грабил, я не знаю, до чего дошел бы. Только до одного я бы не до­шел — не изменил бы. Это я знаю твердо. А до всего остального… Боль­ше не могу писать — застыла рука».

***2 декабря 1941 года***

«Что за пытку устраивают мне по вечерам мама с Ирой?.. За столом Ира ест на­рочито долго, чтобы не только достигнуть удовольствия от еды, но еще для то­го, чтобы чувствовать, что она вот ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смот­рят на нее голодными глазами. Мама съедает всегда первой и затем понемнож­ку берет у каждого из нас. При дележке хлеба Ира поднимает слезы, если мой кусочек на полграмма весит больше ее. Ира всегда с мамой. Я с мамой бываю лишь вечером и вижусь утром. Быть может, и поэтому Ира всегда правая сто­рона… Я, по всей видимости, эгоист, как мне и говорила мама. Но я помню, как был дружен с Вовкой Шмайловым, как тогда я не разбирался, что его, а что мое, и как тогда мама, на этот раз мама сама, была эгоисткой. Она не давала Вовке книг, которых у меня было по две и т. д. Почему же с тех пор она хотела так направить мой характер? И сейчас еще не поздно его переломить…

Я раньше должен был съесть 2 или 3 обеда в столовках за день плюс еще сыт­ный ужин да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день. А сей­час я удовлетворяюсь 100 г печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню.

А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти. Мама боится уже ехать. „При­едешь, — говорит она, — в незнакомый край…“ — и т. д. и т. п.».

***7 декабря 1941 года***

«…Эта декада будет решающей для нашей судьбы… Главнейшие задачи, которые следует разрешить, это в чем ехать и с кем ехать. Эх, если бы я хоть раза два подряд покушал досыта! А то откуда мне взять энергию и силу для всех тех трудностей, что предстоят впереди… Мама опять больна. Сегодня спала всего-навсего три часа, с трех до шести утра. Мне просто было бы необходимо сейчас съездить к Тураносовой за обещанной теплой одеждой. Но такой мороз на улице, такая усталость в теле, что я боюсь даже выйти из дома.

Начал вести я дневник в начале лета, а уже зима. Ну разве я ожидал, что из моего дневника выйдет что-либо подобное?

А я начинаю поднакоплять деньжонки. Сейчас уже обладаю 56 рублями наличности, о наличии которых у меня ведаю один лишь я. Плита затухла, и в кухне мало-помалу воцаряется холод. Надо надевать пальто, чтобы не замерзнуть. А еще хочу ехать в Сибирь! Но я чувствую, что дай мне поесть — и с меня сойдет вся меланхолия, все уныние, слетит усталость, развяжется язык, и я стану человеком, а не подобием его…

<…>

Сейчас я похудел примерно килограммов на 10–15, не больше. Быть может, еще меньше, но тогда уже за счет чрезмерного потребления воды. Когда-то раньше мне хватало полтора стакана чая утром, но сейчас не хватает шести».

***10 декабря 1941 года***

«Декада к концу. А дела наши с эвакуацией… Вопрос все еще остается откры­тым. Как это мучительно! Знаешь, что с каждым днем твои силы иссякают, что ты изнемогаешь от недоедания день ото дня все больше и больше, и дорога к смерти, голодной смерти, идет параболой с обратного ее конца, что чем даль­ше, тем быстрее становится этот процесс медленного умирания… Вчера в оче­ре­ди в столовой рассказывала одна гражданка, что у нас в доме уже пять чело­век умерло с голода… А самолеты летят до Вологды… Каждому прибывавшему дается целых 800 г. хлеба и еще сколько угодно по коммерческой цене. И масло, и суп, и каша, и обед… Обед, состоящий не из жидкости, а из твердых тел, име­нуемых: каша, хлеб, картофель, овощи… Какой это контраст с нашим Ленин­гра­дом! Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, выр­ваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в небольшой деревушке среди природы… забыть пережитые страдания… Вот она, моя мечта на сегодня.

<…>

Несчастья не закалили, а только ослабили меня, а сам характер у меня оказался эгоистичным. Но я чувствую, что сломать мне сейчас свой характер не под си­лу. Только бы начать! Завтра, если все будет как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю и хотя бы четверть пряника да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую прине­сти все. Все! Все! Все!! Все!!! Ладно, пусть уж если я скачусь к голодной смерти, к опухолям, к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у ме­ня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не взять ни кусочка из то­го, что я куплю! Ни кусочка! Если эвакуации не будет — у меня живет-таки надежда на эвакуацию, — я должен буду суметь продержать маму и Иру. Выход будет один — идти санитаром в госпиталь. Впрочем, у меня уже созрел план. Мама идет в какой-нибудь организующийся госпиталь библиотекарем, а я ей в помощники или как культработник. Ира будет при нас.

<…>

У меня такое скверное настроение и вчера, и сегодня. Сегодня на самую ма­лость не сдержал своего честного слова — взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфеты… Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что вы­плюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь… И кусочек маленький-маленький шоколада тоже съел… Ну что я за человек! У мамы вчера сильно рас­пухла нога, с эвакуацией вопрос открытый, в списки треста № 16 маму включить нельзя, одна надежда на Смольный».

***24 декабря 1941 года***

«Не писал я уже много дней. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Целых 8 дней рука не бра­ла в руку перо.

<…>

Тихая грусть, гнетущая. Тяжело и больно. Печаль и тяжкая безотрадная скорбь. Может быть, и еще что. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж на­шей прошлой, довоенной жизни. Политическая карта Европы на стене, домаш­няя утварь, раскрытая порой для чтения книга на столе, ходики на стене, тепло от плиты, когда она топится… Но мне хочется обойти опять всю квартиру. На­де­ваешь ватник, шапку, запоясываешься, натягиваешь варежки на руки и от­кры­ваешь дверь в коридор. Здесь мороз. Изо рта идут густые клубы пара, хо­лод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст.

<…>

Что это? Это бывшая столовая, место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то (это кажется давным-давно) стояли диван, буфет, стулья, на столе стоял недоеденный обед, на этажерке книги, а я лежал на ди­ване и читал „Трех мушкетеров“, закусывая их булкой с маслом и сыром или гры­зя шоколад. В комнате стояла жара, а я, „всегда довольный сам собой, своим обедом и…“, последнего у меня не было, но зато были игры, книги, жур­на­лы, шахматы, кино… а я переживал, что не пошел в театр, или еще что-нибудь, как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей… И наконец, каково вспоминать ленинградский Дворец пионеров, его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерт в его столовой, концерты, балы… Это было счастье, которое я даже не подозревал, — счастье жить в СССР, в мирное время, счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю, знать, что будущего у тебя никто не отымет. Это — счастье. И следующая комната — мрачная, унылая полутемная клеть, загруженная всяким добром, что осталось у нас. Стоит комод, разобранные кровати, два письменных стола один на другом, диван, все в пыли, все закрыто, упаковано, лежать тут хоть тысячу лет…

Холод, холод выгоняет нас и из этой комнаты. Но когда-то здесь была плитка, на ней жарился омлет, сосиски, варился суп, за столом сидела мама и долго ночами работала при свете настольной лампы…

Здесь, бывало, вертелся патефон, раздавался веселый смех, ставилась огромная, до потолка елка, зажигались свечи, приезжала Тина, приходил Мишка, на столе лежали груды бутербродов (с чем их только не было!), на елке висели десятки конфет, пряников (никто их не ел), чего только не было! А ныне здесь пусто (ка­жется, что так), холодно, темно, и незачем мне заглядывать в эту комнату».

***6 января 1942 года***

«Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит — я уж себе даже представить этого не могу, как она хо­дит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нерв­ные припадки, она не может вынести моего никудышного вида — вида сла­бого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле пере­двигается с места на место, мешает и „притворяется“ больным и бессиль­ным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы… из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит?»

**Приложение 2.**

**Яркий свет при черном небе. Страницы блокадного дневника**

 *Мы продолжаем знакомить читателей с дневниками ленинградцев, которые они вели, находясь в осажденном городе, а в 80-е годы прошлого века, когда редакция объявила акцию «Память», были присланы нам. За минувшие сорок лет многие из полученных нами писем были опубликованы.*

|  |
| --- |
| ФОТО Всеволода ТАРАСЕВИЧА. *Из архива редакции и с тех пор хранились в архиве* |

И вот еще один дневник. Его передала редакции **Лилия ТУРЕЦКАЯ (ГРЕВНИНА),** сопроводив свою рукопись постскриптумом:

***«От блокадных воспоминаний и сейчас, спустя много лет, холодеет сердце. О том, что пришлось нам пережить, узнал весь мир. И еще, надеюсь, он понял, что невозможно победить народ нашей страны».***

Действительно, многое из того, что зафиксировал дневник, уже известно. Но мы все равно будем вновь и вновь возвращаться памятью к блокадным и военным годам. В знак благодарности тем, кто, преодолевая трудности, тысячами своих жизней не давал умереть городу.

***12 августа 1941 года.***

Часто вспоминаю выпускной вечер в нашей знаменитой 222-й школе (Петришуле. – Ред.). Ландыши на столе, бал в актовом зале. Прогулку по набережной Невы чудесной белой ночью. Семнадцатилетние, на пороге новой взрослой жизни, мы были счастливы. А 22-го мир, казавшийся светлым, заслонило зловещее слово – война.

Я подала заявление в 1-й Ленинградский мединститут. Вступительные экзамены заменили конкурсом аттестатов, и меня приняли. Срок обучения сокращен до трех с половиной лет, но не за счет уменьшения программы. Стране очень нужны медики, и мы будем заниматься без выходных и каникул по 8 – 9 часов в день.

***11 октября*** ***1941 года.***

Налеты вражеской авиации теперь обычное явление. Никогда не забуду один из первых. Был поздний вечер. Вдруг послышался шум самолета, и сразу соседи застучали в дверь нашей комнаты. Мы выбежали на кухню и отодвинули светомаскировку. Вокруг было светло, как ярким солнечным днем, а небо оставалось черным, и город под ним казался обнаженным перед врагом. Хотелось скорее накинуть на него пелену ночи.

Мы быстро научились тушить на чердаке зажигательные бомбы. Но ими враг не ограничился. Вскоре наш огромный дом качнуло, и раздался оглушительный взрыв. Это фугаска срезала угол дома на углу улицы Гоголя и Кирпичного переулка. Были жертвы.

***12 октября 1941 года.***

В одной из групп нашего курса учится Наталья Бехтерева – внучка знаменитого академика. В нашей группе среди девушек всего один парень, снятый с воинского учета по болезни. Я не сразу решилась поступать в медицинский – боялась трупов. А теперь могу долго находиться в анатомичке. Вспоминаю, как на вводной лекции молодой профессор предупреждал нас препарировать бережно, так как не всегда хватает анатомического материала. Очевидно, лекция была написана в довоенное время.

В хирургической клинике, куда привозят раненых с фронта или попавших под бомбежку в городе, действительно страшно. Больно видеть юношей, которым предстоит ампутация. В ординаторской хирург объясняет нам, почему молодому бойцу придется удалить руку. И, когда его вносят в перевязочную и он сквозь стоны умоляет сохранить ему руку, наши глаза наполняются слезами. И лютая ненависть к фашистам закипает в груди.

В нашу учебную программу включили курс медицинских сестер. Учебу совмещаем с работой в госпитале или больнице. Я уже делаю подкожные и внутривенные инъекции, различные перевязки, умею кормить тех, кто без сознания. А еще мы участвуем в оборонных работах: роем траншеи и щели в черте города.

***12 ноября 1941 года.***

Резко снизились нормы на продукты питания. Мы были прикреплены к своей столовой. У каждого курса свой час обеда, но, несмотря на это, столовая перегружена, потому что одну порцию супа дают без карточек. А сегодня за суп вырезали талон на 25 граммов крупы, а за кашу 50 граммов. Столовая сразу опустела.

Дома еду не приготовить – кончился керосин. Электроприборы включать запрещается под угрозой огромного штрафа в 3000 рублей. Для электроосвещения дан строгий лимит, равный одной трети довоенного потребления. Вот опять черный рупор радио возвестил: «Воздушная тревога!». Завыли сирены, часто затикал метроном. Где-то близко взорвалась фугасная бомба. Куда попали сегодня?

А иногда случается невероятное: бомбы падают и не взрываются. Помню, когда начался налет, наша группа проводила опыты в химической лаборатории. Вдруг где-то очень близко раздался страшный удар, но взрыва не последовало. Оказывается, бомба упала в больничный сад. В МПВО вызвали саперов, которые обезвредили тысячекилограммовую бомбу. Как нам тогда хотелось верить, что среди немецких рабочих, собирающих бомбы, есть антифашисты.

***17 ноября 1941 года.***

Сегодня день моего совершеннолетия. От голода вялость и безразличие. Очень похудела. Учиться трудно, но пошла в институт и оказалась одна в аудитории на занятиях по химии.

Мама держится, лечит больных, но тоже сильно сдала. Отец – кожа да кости. Обычное наше питание за день – утром кусочек хлеба и чай, с собой два крошечных кусочка, вечером дурандовая лепешка с чаем. Отцу на заводе выдали несколько черных дурандовых плит. В них наше спасение.

***4 декабря 1941 года.***

Голод, страшный голод в Ленинграде. На улице много людей с саночками, на которых они везут хоронить своих близких. На Пискаревском кладбище хороним дядю Шуру. Он был в ополчении. Его ранили под Стрельной, но спасти не удалось. Когда подходила к кладбищу, меня ошеломил вид огромного пространства, как бы залитого кровью. Когда приблизилась, то увидела, что это море красных намогильных колонок.

Ленинградцы очень изменились: ходить на работу становится все трудней. Изможденные, они с трудом пробираются по темным улицам. Хорошо, если дом близко. А ведь ходят и от завода «Большевик» на Васильевский остров, из Новой Деревни на Кировский завод.

Фашисты бомбят и обстреливают наш прекрасный город. Но в блокаде, холоде, голоде, отрезанные от Большой земли – так теперь мы называем нашу Родину, – мы живем. Боремся. И мертвые уходят непокоренными. Нас победить нельзя!

***14 декабря 1941 года.***

Фашисты бомбят город ежесуточно в любое время дня и ночи. Но многие жители перестали спускаться в бомбоубежище, как и наша семья. Мамы, как обычно, нет дома. У нее, поскольку она врач, пропуск на право хождения по городу во время тревоги. Мы ждем ее и занимаемся важным делом. Кожевенный завод «Коминтерн» из-за отсутствия электроэнергии не работает. Неиспользованные в производстве просоленные грязные шкуры разделили на части и раздали работникам, в том числе моему отцу. Мы режем их на кусочки и опаливаем внутри буржуйки. Соскабливаем обгоревшую шерсть, моем и долго развариваем, потом пропускаем через мясорубку и делаем студень.

***15 декабря 1941 года*.**

Остаюсь дома. Добираться на Петроградскую сторону по Невскому льду нет сил. Сидим в потемках.

***20 декабря 1941 года.***

Норма хлеба прежняя. Сегодня видела у ДЛТ, как на широкой лестнице полулежал совершенно обессилевший мужчина. И посторонняя женщина, пытаясь поддержать, кормила его кусочком хлеба. В самых тяжелых испытаниях ленинградцы не утратили милосердия.

***22 декабря*** ***1941 года.***

Пошла за хлебом. Стемнело, когда я вышла из булочной на Невском, прижав к себе завтрашнюю норму. Внезапно кто-то наскочил сзади, толкнул. Подумала, случайно. И вдруг поняла, что хлеба у меня нет. Что делать? Пошла домой, взяла спички и вернулась на то же место. Ползала по мостовой пустынного проспекта, шарила руками по снегу и между трамвайными рельсами – вдруг найду. Но обнаружила только довесок граммов пять, остальное выхватили. Как проживем сутки?

***25 декабря 1941 года.***

Сегодня огромная радость. Увеличили норму выдачи хлеба. Рабочим 350 граммов, служащим, детям, иждивенцам – по 200.

***31 декабря 1941 года.***

Завтра новый 1942 год. Город оцепенел. Смертность от голода достигла больших размеров. Трудно умершего похоронить в отдельную могилу. В лютую зиму земля окаменела. Соглашаются рыть только за хлеб, а где его взять?

***2 января 1942 года.***

Третью неделю не ходят трамваи. Дома ни света, ни воды. Температура в комнате плюс семь градусов. В домовой прачечной из одного крана волосяной струйкой течет вода. В соседних домах вообще воды нет. Все идут к нам, и поэтому за водой надо стоять часами.

***24 января 1942 года.***

Порадовало сообщение Совинформбюро. Нашими войсками перерезана дорога Ржев – Великие Луки. Освобождены несколько населенных пунктов. Настроение приподнятое, и еще замечательная новость – увеличена норма хлеба. На Большой земле нас, ленинградцев, называют героями. А нам кажется, что действовать иначе в кольце блокады нельзя. Враг не бомбит. Сильные русские морозы сковали крылья фашистских стервятников. Занятия прекращены. Работаю медсестрой в больнице. Бывает очень радостно прочесть больным хорошую весть с фронта.

***7 февраля 1942 года.***

Морозы продолжаются. Неотапливаемые комнаты превратились в холодные каменные ящики. Замерзла канализация. Нечистоты выливают во дворы. Из-за недостатка воды возникли перебои с хлебом. Воду хлебозаводам подают пожарные машины, у которых от сильных морозов растрескиваются шланги. Мы с отцом стояли в очереди за хлебом с семи утра до девяти вечера, сменяя друг друга. В очереди многие умирали.

Еще одно бедствие: начались пожары. Жители, уходя за хлебом, в надежде скоро вернуться, оставляли непогашенными «буржуйки». Как свеча горел два дня (остались одни наружные стены) огромный, украшенный великолепной мозаикой дом-сказка на углу улицы Декабристов и проспекта Маклина (ныне Английский проспект. – Ред.). Я шла с работы мимо пожарища. Около останков дома на ледяном ветру сидели около кучек спасенных пожитков несчастные погорельцы. Глаза их были полны отчаяния.

***3 марта 1942 года.***

Работаю. В институте занятия так и не начались. Поговаривают, что намечается его эвакуация в Пятигорск. Но как я могу оставить своих родителей, у которых сильная дистрофия? Снабжение продовольствием стало лучше. Продукты в Ленинград поступают по Дороге жизни через Ладогу.

***5 апреля 1942 года.***

В пасхальные дни фашисты снова сильно бомбили город. Две бомбы попали в нашу больницу. Взорвалась аптека. Мы с мамой в это время были дома и с ужасом думали о том, что сделали с нашими больными верующие в бога немцы...

***20 апреля 1942 года.***

Отец от Наркомата получил перевод. Мы с мамой не хотели оставлять Ленинград, но после большого разрушения больницы решили ехать вместе с отцом. Выехали 14 апреля. Дорога жизни была уже под талой водой. Грузовики то ли ехали, то ли плыли, до радиаторов погружаясь в воду.

***15 июня 1942 года.***

Путь до места назначения занял больше месяца. Моих родителей принимали за старичков, а им было всего по сорок лет. Но наша семья продолжала работать на благо Родины, ради Победы.

*Лучшие очерки собраны в книгах «Наследие. Избранное» том I и том II. Они продаются в книжных магазинах Петербурга, в редакции на ул. Марата, 25 и в нашем*[*интернет-магазине*](https://shop.spbvedomosti.ru/)*.*

[#ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА](https://spbvedomosti.ru/search/?tags=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)[#БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА](https://spbvedomosti.ru/search/?tags=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)[#ДНЕВНИК](https://spbvedomosti.ru/search/?tags=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)

*Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 49 (6887) от 23.03.2021 под заголовком «Яркий свет при черном небе».*

Источник: [Яркий свет при черном небе. Страницы блокадного дневника (spbvedomosti.ru)](https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/yarkiy-svet-pri-chernom-nebe-stranitsy-blokadnogo-dnevnika/)

**Приложение 3.**

**Воспоминания о блокаде без цензуры**

[***Митрий Хитрый***](https://proza.ru/avtor/mitriyx)

**Источник:** [**https://proza.ru/2014/10/12/1717**](https://proza.ru/2014/10/12/1717)



Борис Иванович Кузнецов - мой отец. Родился 20 сентября 1928г.; скончался 28 ноября 2010г. За несколько лет перед смертью решил написать воспоминания о своём блокадном детстве. Скорее всего, он не успел сказать всё, что хотел, но что успел, то, успел. Он скончался от онкологического заболевания, знал, что его ожидает, и, если что-то и пропустил, то, думаю, что остальное не вымысел, тем более, что какие-то эпизоды отец мне рассказывал и раньше. Да и перед смертью обычно не лгут, тем более своим близким, для которых эти воспоминания поначалу и предназначались. Потом папа разрешил ознакомить с частью своей (и не только своей) жизни и всех, кого это заинтересует. Так один из его рассказов и появился в интернете.

Впервые опубликовано 28.07.2010 21:36; Автор Борис Кузнецов, на сайте православные.орг

I  
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО  
  
С «древом» нам, Кузнецовым, не повезло: из питерских Кузнецовых мне одному довелось сохранить фамилию (четыре сестры, а брат умер в молодости).

Может быть, где-то на западе Псковщины сохранилась ветвь Кузнецовых, но я о них ничего не знаю. Знаю, по рассказам сестры Людмилы, что в Петербурге, где-то в конце XIX века, появился мой прадед, стал средним купцом, потом – мой дед Андрей. Отец, Иван Андреевич,в Первую мировую хватанул горчичного газа, где-то женился на польке – Доре, в крещении – Дарья. Жили дружно, болели туберкулёзом лёгких, делали детей. Я был последышем, шестым. Отец работал на вагоностроительном заводе, где-то рядом жили и мы. Жизнь, очевидно, была трудная – детей куча, работник – один. Мама, когда не болела, где-то работала, на работе подружилась с Александрой Александровной Фёдоровой (в девичестве – Ларина). Та приня-  
ла участие в наших невзгодах и взяла к себе меня и Женю (на прокорм, наверное). Она жила с мужем, детей не было.  
  
В 1933 году умерла мама – я её совсем не помню. Фёдоровы взяли опекунство надо мной и Женей. С тех пор мы жили в семье Фёдоровых. Для нас они стали мама и папа и в дальнейшем, для простоты, я так и буду их называть.  
Родной отец успел жениться, получил приличную квартиру на ул. Чайковского, 36. Бывал я у них редко, Фёдоровы не поощряли контактов с другими родичами. Отец по болезни ушёл с работы. Он был ещё неплохой дамский портной и дома потихоньку подрабатывал на жизнь. Помню его сидящим на большом столе с выкройками. В 1937 году он умер. Помню его похороны: катафалк с конями, с оркестром, позади довольно много провожающих. Он перед моим рождениемвступил  
в ВКП(б), был на «счету». Наверное, из-за этого меня не крестили, а может быть и окрестили тайно, не знаю.  
В те времена так было принято – хоронили достойно, даже по Невскому проходили процессии – катафалк с конями, провожающие...  
Подробности моей жизни описывать не буду. Было всякое, хорошее и горестное. Хорошего было гораздо больше. Я никогда не был голоден, лето всегда было тёплым и солнечным, были хорошие друзья. Плохо мне было, когда мама жёстко напоминала мне, что я неродной, я – «кузнецовское отродье». Женя была старше, иногда она сбегала на Чайковского, к отцу. Но её возвращали обратно.  
Светлая память о моём «папе Фёдорове», Леонтии Дмитриевиче. Добрейший человек, мы с ним были на равных, друзья.  
Помню, как я безучастно стоял у гроба отца и мне кто-то пытался втолковать, что это лежит мой умерший папа. А я почти радостно возражал: «Нет, мой папа живой, вот он стоит», показывая на своего опекуна.  
Остальные детали моей родословной можно узнать из специально сохранённых мною анкет. Их я составил за жизнь множество. Любой переход на другой уровень сопровождался написанием анкеты и биографии. Допуски к секретным работам требовали тоже этого ритуала, ещё более подробного. А у меня сначала допуск к «форме 4», потом «3», потом»2» и, наконец, к форме 1. Всё это меня «достало» – надо было каждый раз вспоминать всю мою раскиданную родню.  
Я однажды сделал копию моих трудов и потом переписывал. Одна копия где-то лежит.  
Детство кончилось, наверное, с началом войны. Об этом периоде моей жизни расскажу в следующей главе.  
  
II.  
ВОЙНА  
Война не стала для меня неожиданностью. К войне нас готовили с раннего детства. Уже во втором классе нам приказывали зачирикивать в учебниках физиономии вождей, которые оказались «бяками». В 4-м классе я уже знал, что такое иприт, люизит, фосген, дифосген и получил первый знак отличия – БГТО – «Будь готов к труду и обороне» (нет, первый был «октябрёнок»). Потом – ГТО («Готов к труду и обороне»).  
  
Нам объясняли, что кругом – враги, что люди всего мира стонут под игом капиталистов, надо им помогать через МОПР («Международное общество помощи революционерам»). Туда вносили безвозмездные пожертвования. Была фраза «в пользу МОПРа», это когда куда-то брали деньги. Фильмы: кругом шпионы и враги народа. Песни: «Если завтра война», «Три танкиста», «Гибель эскадры», «Любимый город»... Все на нас нападают, и мы всех быстро побеждаем. Жизнь – учебные воздушные тревоги (как в «Золотом телёнке», точная копия). В общем, психологически мы были готовы.  
  
Теперь о «декорациях», в которых началась война для меня.  
Мы живем на улице Жуковского дом 23, кв. 3а. Вход с улицы, 2-й этаж. Ближайшие соседи (общая первая прихожая) – еврейская семья: мама, папа и разжиревшая 3-х летняя дочка. Не дружим, иногда ругаемся. (Папа как-то раз обозвал соседку жидовкой.) На площадке еще одна квартира. Там тоже еврейская семья: Циля Марковна Кнеллер, Владимир Моисеевич Тендлер и их сын Борис. Их квартира уходит в 2-этажный флигель и переходит общим коридором к другой квартире, где живут супруги Маховы. Кузьма Ильич, крепкий мужик, воевал в «гражданку» с басмачами. Жена, волоокая армянка и сын Илья, мой друг.  
Этажом выше коммунальная квартира, две русских и одна еврейская семья. Во дворе шесть русских, одна армянская и одна татарская семья.  
Живём (ребята) дружно, иногда дерёмся, играем в лапту, штандер, «12 палочек», «дочки-матери», «казаки-разбойники».  
  
Мама домохозяйничает, папа работает главбухом в 104-м отделении связи на ул. Некрасова, почти рядом с домом. Женя учится, потом (не знаю причину) стала работать на том же заводе Егорова, где работал отец, обивщицей (мебель обивала). У Жени ухажёр – выпускник училища Фрунзе, отделение подводников, Геннадий Пупков. Рослый парень из Сибири. Встречаются, в гости приходит. А я кончил 5-й класс. Школа у меня прекрасная, бывшее что-то для кого-то (Восстания, 10?). Два зала, Белый и Голубой, широкие коридоры, большие классы, хорошие учителя, нянечки сопли подтирают и пуговки застегивают.

Папа очень любил наш город. Мне думается, он-то  
в нескольких поколениях здесь продолжался. Таскал меня по всем музеям, просто по улицам, где знал историю всех интересных домов.  
   
В воскресенье 22 июня 1941 года мы вдвоём поплыли в Петергоф, на речном трамвайчике. День был тёплый, солнечный. В Петергофе я был не в первый раз, но папа умел каждый раз рассказать что-то новое. По парку развешаны громкоговорители, такие четырехгранные трубы. Народ что-то притих, сгруппировался возле этих труб. Начала не слышал, конец чётко: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – речь Молотова. Люди стали расходиться, мы пошли к пристани. Обратный рейс не отменили, пошли к городу. На морском канале, недалеко от Кронштадта, увидел стоящее торчком, как поплавок, кормой вверх судно. Уже после войны, случайно наткнувшись на статью о работе ЭПРОН (экспедиция подводных работ) я прочитал, что немецкие торговые суда, ушедшие из города в ночь на 22 июня, накидали в фарватер мины, и на одной из них подорвался наш сухогруз.  
  
В городе внешне ничего не изменилось. Я очень искал признаки начавшейся войны, и увидел – по улице шагали солдаты, держа за верёвки зеленые надутые баллоны метров по десять длиной и метра два в поперечнике.  
  
Настала некоторая напряжёнка с продуктами. Помню, идём мы с мамой по Маяковской, с лотка что-то продают. Небольшая очередь. Мама говорит: «Давай постоим». Я говорю: «Мама, ну что стоять, война скоро кончится и всё будет». Уговорил, дурак. В июле – карточная система, но открылись коммерческие магазины, по более высоким ценам. Пришёл с работы папа, говорит: «Меня взяли в армию, добровольцем». Возраст у него был уже не вполне призывной, но по линии МВД организовывали войска для борьбы с предполагаемыми диверсантами-парашютистами. И стал папа бойцом пятого истребительного батальона. Ему объяснили, что время трудное и возьмут всё равно, а доброволец будет получать почти всю свою зарплату. Это было 500 рублей. Для неработающей семьи – неплохо.  
  
Батальон базировался на Марсовом поле (Площадь Жертв революции), в здании теперешнего Ленэнерго. На площади их обучали искусству ходить строем.  
Однажды папа пришел в своей одежде, но перекрещённый пулемётными лентами (с патронами), с заграничной винтовкой с подсумком и двумя гранатами РГД на ремне. Мама возмущалась: «Ты грознее палки ничего в руках не держал, а тут вырядился». (По другим свидетельствам родственников, — Леонтий Дмитриевич и родной отец моего папы вместе воевали на Первой Мировой войне: там и познакомились. К.Д).  
Папа поцеловал нас молча, и пошёл воевать. Батальон сразу бросили под Невскую Дубровку.  
  
А Женя пошла в сандружину (боец МПВО, местной противо-воздушной обороны), на казарменное положение, дома бывала редко. Её жениха, Геннадия, выпустили из училища с дипломом, званием лейтенанта и двумя выпускными чемоданами – форма, белье. Пришёл к нам с чемоданами, а Жени нет, на службе. Дал поиграть с кортиком, пистолетом, потом пошли в «Колизей». Только сели, – тревога, нас попросили выйти, успели забежать рядом в мороженицу. Под вой сирен только налопался мороженого и отбой воздушной тревоги, пошли домой.  
Воздушные тревоги объявляли часто, народ загоняли в бомбоубежища или в подворотни.  
  
Ребятам было интересно. Когда объявляли тревогу, мы мчались в домконтору. Там стояла сирена – металлическая трость, сверху барабан с ручкой, внизу гнездо для ноги. Счастливец выбегал на середину двора и крутил ручку. Из барабана нёсся пронзительный вой. Умельцы меняли тональность, с разной скоростью крутя рукоятку. Получались впечатляющие завывания, даже при не включённой трансляции. Потом бежали  
в следующий двор и повторяли «концерт».  
  
Конец июля, тревоги пока звуковые. Коммерческие магазины еще работают. Немцы всё ближе, но явного беспокойства пока еще нет, никто не громит магазины, нет митингов протеста.  
  
Ходил с мамой в Большой дом получать папину зарплату (500 руб.). Зашли в коммерческий магазин, там почти пусто. Купили банку чёрной икры (500 граммов). Последняя покупка вне карточек.  
  
Потом началась эвакуация. Вызвали маму в школу, сказали, что все учащиеся эвакуируются с преподавателями, имеющими детей. Назначен день, дан перечень вещей. Мама собрала рюкзачок (самодельный), «вечная» ручка, купили электрический фонарик, которому я очень обрадовался. Чувствую себя самостоятельным. В скверике у школы толпятся ребята, мамы. Моя мама где-то побегала, выяснила, что дети многих учителей не уезжают, и вообще неизвестно, куда нас повезут. Сказала: «Боря, пойдём домой». Я был разочарован. Маму вызывали, но она сказала, что она только опекунша и поэтому... в общем отговорилась. (Их повезли, кажется, куда-то под Лугу, прямо под наступление немцев. Я так никогда и не встретил никого из ребят того эшелона). Август прошёл как-то незаметно. Мою школу сделали госпиталем, меня определили в 206-ю школу – во дворе кинотеатра «Колизей». Стал учиться в шестом классе. Ребят было мало.  
  
8 сентября, в тихое солнечное предвечерье, болтался на дворе. Воздушная тревога, обычная. В чистом небе появились самолёты. Шли ровно, рядами. Вокруг зарявкали зенитки, между самолётными рядами расползались пушистые облачка разрывов. Понял, что это немцы, удивлялся, что все целы и идут ровно, как на прогулке. Ближе к вечеру в районе Лавры в небо поднялось огромное чёрное облако. Слух прошёл – горят Бадаевские склады, где чуть ли не всё наше продовольствие. Я не ходил, но люди, слышал, сгребали ручьи из сгоревшего сахара.  
  
С первых дней войны в домохозяйстве был создан медпункт. Домохозяйство – три дома: 21, 23, 25.  
  
25-й выходил углом на ул. Маяковского. Угол первого этажа до войны был «красным уголком». Это такое помещение, куда жильцы домов могли прийти, почитать газеты, послушать радио (которое было тогда не у всех) или лекцию типа «Есть ли жизнь на Марсе» или про нехороших буржуев, шпионов, голодающих зарубежных наших братьев по классу. Это помещение и было отдано под медпункт. В большой комнате с зеркальными «магазинными» окнами, выходящими на Жуковскую и Маяковскую, поставили несколько застеленных кроватей, повесили шкафчик с предметами первой помощи – йод, бинты, таблетки и пр. Маму, как неработающую домохозяйку, назначили начальником этой санитарной части. По тревоге она уходила в медпункт, ждать пациентов.

8 сентября, после дневного налета, к ночи снова завыли сирены. Мама пошла на свой пост, я улёгся в кровать.  
  
Война по-настоящему подошла к нашему дому. Грохот зениток, тяжёлые взрывы фугасных бомб, дом потряхивает. Прибежала мама, сказала, чтобы я шёл в бомбоубежище. В доме 21, дворовом флигеле, была типография с полом из железобетонных плит. В подвале под ней оборудовали бомбоубежище – поставили нары, бачок с водой, керосиновые лампы, аптечку.

Я оделся. Мама ждала. И в уши ударил нарастающий вой, почти скрежет. Мы прижались к стене, я смотрел на окно. Окна у нас были большие, высокие, занавешенные плотными зелёными шторами из тонкого картона. Дальнейшее я видел, как в замедленном показе фильма. Медленно рвётся на куски светомаскировочная штора, влетают в комнату осколки оконных стёкол, всё это на фоне багрового зарева. Кажется, самого взрыва я не слышал, просто вжался в стену. И какой-то миг звенящей тишины. Выбежали с мамой на лестницу. Коридор первого этажа, ведущий к парадной, искорёжен выдавленной внутренней стеной. Вышли на улицу. Первое – яркая лунная ночь, по всей улице в домах ярко светящиеся окна (у всех вылетели стёкла и маскировка). Справа наискосок какие-то фантастические в лунном свете развалины, в них мелькают огни фонарей, слышатся крики. Пошли в бомбоубежище, под ногами хрустит стекло.  
   
К утру, после отбоя, вернулись домой. Стёкла все выбиты, неуют. Во дворе лёгкая суматоха – жильцы обмениваются впечатлениями. Наш дворник дядя Ваня вполне «старорежимный». Вечером запирает и парадную, и ворота. Возвращающимся после полуночи после звонка в дворницкую отпирает, получает в благодарность рубль. В праздники обходит всех жильцов с поздравлениями, выполняет мелкие ремонты – замок починить, стекло вставить...  
Мама к нему: «Ваня, вставь стёкла!» Ответ слышал сам: «Что вы, мадам Фёдорова! Немцы в Лигово, завтра здесь будут, а вы – стёкла!»  
Чтобы больше к нему не возвращаться: в декабре, проходя к себе домой, он заметил в бетонном кольце с песком для зажигалок завёрнутый в бумагу солидный окорок. Взял, принёс домой. Окорок оказался женским. С воплем выбежал во двор, созвал людей, чтобы убедились, что окорок вполне замороженный, не его работа. А в начале 1942 года подъехал грузовик, нагрузили с верхом всякого скарба, и дядя Ваня отъехал в эвакуацию, через Ладогу. Не знаю, доехал ли.  
  
Вернусь к теме. С того первого дня блокады тревоги были каждый день, вернее – вечер. С немецкой педантичностью в 20.30 начинался первый налёт. С небольшими передыхами тревоги продолжались до полуночи, потом, наверное, все шли отдыхать. Народ как-то узнавал, где, как и сколько. После первой бомбежки мы узнали: в тот вечер были сброшены четыре тысячекилограммовых фугасных бомбы, одна из них попала в 5-этажный жилой дом на Маяковского. Разворотила полдома до низа и снесла полностью двухэтажное угловое здание – общежитие ИЗОРАМ (Изобразительная студия рабочей молодежи – примерно). Погибло около 600 человек – в домах и убиты взрывной волной на улицах и в подъездах.  
Наш «медпункт» разбило начисто, если бы мама не пошла за мной я остался бы один.  
  
Погибших дома родственники не дотаскивали до штабеля и оставляли на улице, вдоль ограды. После начались будни блокады. Утром я шёл в школу. Ребят с каждым днем ходило меньше. В ноябре уже ходили из-за тарелки супа. Суп становился всё бледнее. Помню последний школьный суп – тёплая водичка, замутненная мукой. Заплатил 4 копейки. Школа не отапливалась, занимались в подвале, там немного теплее. Собиралась кучка ребят, кто в чём одет, один жёг лучину, учительница наскоро объясняла, что прочитать дома, и расходились. До школы недалеко – по Маяковской, налево по Невскому до «Колизея». Прохожу мимо ограды больницы им. Куйбышева. Туда свозят трупы. Возле арки с правой стороны их складируют. Штабель длиной метров 20 и высотой в человеческий рост. Многих умерших, раз, идя в школу, увидел моего одноклассника, приткнувшегося на снегу. Узнал его по огненно-рыжей шевелюре. Тоже шёл в школу. Я повернул домой, лёг в кровать и уже почти не выходил до весны, только за хлебом, за водой.  
Надо сказать, что нам с мамой повезло. Окна в квартире кое-как заколотили фанерками, но жить зимой в ней было невозможно, тем более что зима выдалась жестокая – морозы под 40, электричества, керосина, воды нет. Но были друзья. Ближние соседи как-то незаметно уехали ещё до бомбежек, и больше никогда не возвращались. В семье, на площадке напротив, Владимир Моисеевич ушёл в армию. Он превосходно знал польский язык, и его внедрили в создаваемую у нас польскую армию в качестве офицера, отправили под Мурманск.  
  
Сын его ушёл на фронт, Циля Марковна ушла на казарменное положение в госпиталь. Мать и сын Маховы ещё до войны уехали на лето к родственникам в Кашин, а Кузьма Ильич был призван в армию – сначала на фронт, но вскоре, наверное по возрасту и заслугам, был назначен комендантом в Парголово, где безбедно командовал до вторжения наших войск в Германию (там он служил тоже в качестве коменданта в небольшом немецком городе).  
  
Обе семьи оставили нам ключи от квартир и предложили жить у них. У каждой семьи был свой угол в подвале, где хранились дрова. Мы перешли жить в квартиру Маховых. Дров хватило до весны. Когда начался голод, в бомбоубежище ходить перестали. В ночные тревоги съёживался под одеялом и слушал. Сначала, после того, как отвоет сирена по радио (трансляция работала всю войну), – тишина, потом в небе слышен характерный прерывистый гул немецких «юнкерсов», потом вступает хор зенитной пальбы, заключительные аккорды взрывов фугасных бомб. Мысли одни – пронесёт или... И снова тишина, до следующей тревоги. Утром узнавали, куда попало, если близко – ходил взглянуть. Женя появлялась редко, по ночам копалась в свежих развалинах, вытаскивая раненых, убитых, днём отсыпалась. Кормили их немного лучше, но всё равно голодно, хуже, чем в армии.  
Как-то заехал Кузьма Ильич (Махов) привёз немного хлеба и кусок конины – у них убило лошадь. Что-то они с мамой разругались. Кузьма Ильич вынул пистолет, кричал: «Я тебя убью!» Мама спокойно сказала: «Убивай, будет чем похвастаться после войны». Потом они обнимались, плакали. Кажется, мама зацепила его отсиживанием в Парголове.  
  
Подошёл Новый год. Мама и я вдвоём (Женю не отпустили, или не захотела, с товарищами, наверное, лучше). У нас горит свет! Наш дом был подключён  
к кабелю, питающему госпиталь (больницу Куйбышева). Пришёл дядя Гена, Геннадий Пупков, лейтенант, командир подводной лодки серии «Щ» («Щука»). Он надеялся, что Женя будет дома, а Женя не думала, что он может прийти. Принёс целую буханку хлеба, что-то ещё. Втроём встретили Новый год, в небе было тихо. Увидели мы его в последний раз. Наш флот был заперт в Невской губе, залив нашпигован минами с обеих враждующих сторон. Только лёгкие боевые корабли и подлодки пытались воевать. Наверное, в одной из вылазок за Кронштадт и подорвалась на мине «Щука» Гены.

В конце войны пришло письмо от родителей Геннадия, из Сибири. Похоронку они получили, но надеялись, зная из писем сына о его любви, что вдруг остался в Ленинграде внук... Мы написали родителям, отправили посылкой его скромное имущество.  
  
Январь был очень тяжёлым. Я лежал в кровати, о чём-то думал, больше о еде («Ну как я мог не любить манную кашу!»). Появились вши. Беспокоили, кусали. Я как-то равнодушно отлавливал их, давил. Мама спохватилась, добыла воды, нагрела, вымыла, переодела. Надо особо сказать о маме – её характер спас нас обоих. Она установила жёсткий режим – нашу жалкую норму еды она делила на завтрак, обед, ужин. Хоть по кусочку, но три раза в день, не забегая вперёд. Многие погибли из-за нетерпения к голоду – умудрялись забирать по карточке хлеб «вперёд», а потом – ничего. Уже в ноябре 1941-го она обменяла всё, что было у нас, ценившегося в те времена, на еду. Была у неё подруга — богобоязненная старушка из Рыбацкого, с окраины города. За папины золотые часы она отдала полмешка мелкой картошки. За папин выходной костюм что-то тоже из овощей. Помню, где-то в сентябре, пришла к нам эта старушка, пили чай. Дневной налёт, всё трясётся и грохочет, окно пробил осколок зенитного снаряда. Мы с мамой прижались к стене, а сверху осыпается кусками наш лепной карниз. Гостья спокойно сидит с чашечкой чая за столом и говорит: «Господь Бог сказал – где тебя застало, там остановись»... Циля Марковна дала нам адресок на улице Чехова, рядом. Некто Нодельман, до войны директор продовольственного магазина, вовремя оценил ситуацию и скупил в своём магазине остатки продуктов, не забыв и не обидев работников. Сходили к нему. В квартире стояли мешки с крупой, сахаром. Купили один раз 1 кг. пшена за 400 рублей и ещё раз что-то, не помню. На еду мама променяла свои золотые часы, больше ничего продажного у нас не было. Я бродил по нашим трём квартирам в поисках довоенного съестного. Нашёл под столиком в прихожей нашего кота, лежащего вытянувшись в струнку. Как-то в суматохе всех дел мы о нём забыли, вроде ушёл. Видно он, почувствовав, что всем не до него, уполз в укромный угол и умер. А у Цили Марковны в буфете я нашёл банку литра на два, полную кускового крупного сахара! Она жила в госпитале, дома почти не появлялась. Знал, что это нехорошо, украдывал по кусочку, встряхивал банку, чтобы казалось больше, и под одеялом лизал этот кусочек.  
   
В середине января вернулся папа. Обросший бородой, вполне живой. Его отозвали, потому что почтарей в городе почти не осталось – кто помер, кого призвали. Вручили ему ключи от почтовых отделений Куйбышевского района (брошенных, закрытых) и всё ведение почтовых дел в округе. Какие дела? В основном, он сидел дома и голодал больше, чем мы, после более полного солдатского пайка. Помню, как мама ловила его на поедании нашего общего запаса и очень ругала – папа плакал и просил прощения.  
  
Но время шло к весне. Мама устроилась работать дворником – рабочая карточка (400 гр. хлеба). К слову – хорошо жилось управдомам. Это вроде начальников маленьких ЖЭК. Три дома, жильцам она (или он) получает и выдаёт продовольственные карточки на месяц. В них талончики на каждый день по 125 гр. хлеба иждивенцам и детям, 200 – служащим, 400 – рабочим. Если сокрыть умерших, а их было!.. В общем, мёртвые души кормили управдомов. У управдомов же были ключи от квартир всех эвакуированных. Там многое осталось. Люди уезжали в надежде скоро вернуться. Из нашей квартиры взяли, со знанием дела – китайский фарфор, которого было немало. (Когда-то мама служила в бонах у графини, после революции остались хорошие отношения. Графиню урезали в жилплощади и многие безделушки перекочевали и к нам. Потом её сослали вроде в Караганду, а сына – лётчика, репрессировали.) У нашей «управдомши» в самое лютое время в квартире были музыка и пляски с гостями – офицерами. С теми, кто попался, власть расправлялась жестоко. Наша управдомша исчезла незаметно, новый управдом был расстрелян (это я узнал из газеты). Он посетил квартиру профессора Беленького (в доме 25) и украл у него из библиотеки какую-то раритетную книгу. А потом, в 1942 году, когда уже стал работать магазин антикварной книги на Литейном, сдал её туда на продажу. Книга была на государственном учете. В общем грязи было много, но это ничто по сравнению с теми, кто выживал, работал, боролся.  
  
Самые тяжёлые времена запомнились чётко, как кадры из фильма. Вот стою я в очереди за пайкой хлеба. В булочной, при свечке, продавщица вырезает талончики на хлеб, приклеивает их к листочку для отчета, отрезает от влажной чёрной буханки ломоть, кладёт на весы, прибавляет или отрезает. Сбоку от очереди стоит, покачиваясь, тень – дистрофик. Внезапный рывок, скрюченная рука хватает с весов хлеб – и в рот. Человек, или то, что он него осталось, падает на пол, рукой закрывает голову и поедает этот кусок, а ближайшие пинают его ногами...  
  
В сентябре в бомбоубежище, познакомились с мамой и дочкой – очаровательной 4-летней девочкой, жившими в доме 21. В январе мы узнали, что мама свою дочку съела после её смерти.  
  
Зима прошла в голоде, бомбежек сильных не было, только артобстрелы.  
Весна пришла. 4 апреля, помнится, что это была Пасха, солнечный день и воздушный налёт. Били, в основном, по кораблям ВМФ, стоящим на Неве. Работали пикирующие бомбардировщики. Грохот был такой, что мы, уже привыкшие к шуму, выскочили во двор и смотрели, как, заваливаясь на крыло, падают в пике немецкие самолёты.  
  
Помню еще налёт по госпиталям, тогда в один день были сброшены бомбы на несколько госпиталей, в том числе на нашу соседку – больницу Куйбышева.  
Снаряды я не считаю, от них мы прятались под арками и в парадных – как от дождя.  
  
С той поры прошло уже больше шестидесяти лет, по скудости памяти вспоминаю всё фрагментарно, но что вспомню – так и было.  
  
Весна, май. Школа № 206 ожила, собрала уцелевших учеников. Мы быстро и безболезненно сдали экзамены за 6-й класс и нас направили (желающих) в совхоз «Выборжский» («Выборжец»?).  
  
До отправки я ездил на трамвае (он уже кое-где начал ходить) на окраины (Мурино) собирать лебеду и крапиву для еды.  
  
Совхоз. Нас человек тридцать в зале совхозного клуба. Прополка гряд. В зависимости от типа сорняков норма 200–300 м гряды в день. Хороши грядки с мокрицей – там и земля помягче, и есть можно. Берем с собой соль. Пучок травки в соль и в рот. Когда созрели овощи, жить стало сытнее, грызём морковь, турнепс, не отходя от грядки печём картошку. Помня о доме, пытаемся что-то достать в семью, прячем немного морковин и картошки под матрасы, в углы. Облава! Директор (в общем, начальник) совхоза прискакал на лихом коне (не на кляче какой-то), велел сделать обыск в нашем жилье. Подручные выгребают на землю у крыльца кучку овощей. Начальник, гарцуя на упитанном коне, поигрывая плёткой, объясняет нам, как нехорошо мы поступаем. Мы поняли. Таскали по несколько морковин и прятали уже не в доме, а в канаве, у дороги к трамваю.  
  
Как-то работаем в поле на грядках, вдруг – самолёт, немец над нами делает круги на высоте 50–100 м. Мы притихли, затаились. Пилот, почти на бреющем развернулся над нами, высунулся, махнул рукой, кинул пачку листовок, книжек-раскладушек. В листовках – фотографии из жизни наших военнопленных. Упитанные бывшие солдаты играют с немцами в волейбол, повара на кухне пекут пирожки, в общем – санаторная идиллия. Кстати, о листовках, я их пересмотрел, такие розоватые бумажки размером с конверт. Примитив жуткий, типа комиксов. Вот некоторые «стихи», что запомнил.  
  
Комиссар ведёт бойца биться с немцем до конца.  
Но лишь немца увидал, комиссар наш в тыл удрал.  
И пред нами два солдата (русский и немецкий)  
Шутят, курят, как два брата.  
  
Вспомним, братцы, как нас всех на войну призвали.  
Вспомним, как политруки в бой нас посылали.  
Только мы не дураки, братцы, оказались.  
А при встрече со врагом в плен ему сдавались.  
Мы живем в раю у Сталина  
Вот уж двадцать с лишним лет,  
А у русского крестьянина ни еды, ни дома нет.  
Все советские учения и все бредни Ильича,  
Я отдам без сожаления за два свежих калача.  
  
Ленинградские дамочки, не ройте ваши ямочки.  
Придут немецкие таночки, зароют ваши ямочки  
  
(это по поводу оборонительных работ с участием горожан).  
  
И в каждой листовке «Passierschain», пропуск для перехода в плен с рисунком «Штыки в землю».  
За прочтение и хранение таких листков можно было поплатиться жизнью, но я где-то прятал для памяти. Мама, наверное, сожгла.  
  
В клубе, где мы спали, крысы бегали ночью по ребятам, грызли утащенные нами овощи. Я занемог, еле ползал на грядках. Догадались измерить температуру, отправили домой. Желтуха. Переболел быстро – с такой «диетой» никакая желтуха не справится. Поехал в совхоз за «расчётом». Заработал я турнепсину, килограмма на 3 – 4.  
  
Наступила вторая блокадная зима. В нашем пользовании уже было три квартиры, но управдом нам дал пользоваться еще одной, в доме 21 во флигеле.  
3-комнатная, 2-й этаж, от снарядов загорожен. Вещи хозяев стащили в одну комнату, запечатали. Красивая изразцовая печь, правда, с дровами стало плохо. Поставили буржуйку, дрова добывали с папой, если удастся. Один раз стащили брошенную кем-то огромную деревянную лестницу. От хозяев квартиры осталась куча дореволюционных журналов «Нива». Читал и жёг.  
Тогда некоторые школы были ведомственные. Мама «устроила» меня в школу № 32 Октябрьской железной дороги, на ул. Восстания, д. 8. Не было проблем с дровами – ОЖД подкидывала. Топили, кололи сами. И была столовая, что-то добавляли к пайку. За неимением ребят наш класс, седьмой, был старшим, так до выпуска мы и были старшими. Человек 16 нас было.  
  
А мне исполнилось 14 лет. Я вступил в комсомол. Фашисты рядом, а у меня и сомнений нет, не страшно. Райком комсомола на Невском (во дворе нынешнего отеля «Палас», или рядом). Верхний этаж. На этаже удивительно тепло, свет. Что-то спрашивают, отвечаю. Вручают комсомольский билет, иду домой, глажу на ходу скромную серенькую книжку.  
  
Как-то сразу стал секретарём комсомольской организации школы. Что-то полезное я, наверное, делал. Помню, как вразумлял балбесов из младших классов на предмет «ученье – свет». Своими методами...  
  
Но я уже «номенклатура». Под Новый год комсомольский актив района собрали где-то на Пушкинской улице в тёплом подвале. Накрыты столы, у каждого – большая тарелка с мясным макаронным супом (много макарон!), большая кружка с пивом и стаканчик (100 г.) водки. У нас дома до войны всегда стояла водка в графине – папа настаивал в ней горький перец стручками, но у меня никогда и мысли не было попробовать, а тут... Я засомневался, но соседи подбодрили – раз налили, надо выпить! Выпил, всё съел. Возвращаясь домой, думал, как проявить своё «пьянство». Вспомнил, что папа в праздники пел и танцевал. Я ограничился кувырканием по сугробам снега, а когда пришёл домой, удивлялся, что мама не заметила, что я пьяный. Я не выдержал, сказал маме, что я пил водку. Мама дала мне пощёчину и отправила спать.  
  
В новый, 1943 г. мы собрались за «праздничным» столом, на столе уже что-то было и мама, на удивление папы, поставила мне рюмку, сказав примерно так: уж если комсомол ему первую рюмку налил, то и дома не грех. И что-то ещё, насчёт вовремя остановиться.  
  
Хочу писать о 1943 годе, а возвращаюсь в мыслях к 42-му, так много недосказано, деталей, которые в то время означали жить или не жить.  
  
Вот я лежу на кровати почти недвижимый, вспоминаю сытые времена. Приходит Циля Марковна, говорит: «Приходи ко мне завтра в госпиталь, покормлю». Пришел в вестибюль, а там притащили с улицы умирающего дистрофика. Помню, как врач сказал: «Дайте укол морфия». Дали, он воспрянул и, кажется, его выпроводили. Госпиталь-то для военных. Циля Марковна работала там кастеляншей. Привела к себе в каморку и принесла большую тарелку супа. А как-то раз её мужу, Владимиру Моисеевичу, удалось из Мурманска переправить посылку. Помню, как она пришла к нам с нераспечатанной посылкой: «Давайте смотреть, что там...» А там были и масло, и сахар, и сыр и ещё что-то. Первое, что она сделала, на тонкий ломоток ленинградского хлеба положила толстый ломоть масла и дала мне. Я откусил пару раз и... потерял сознание.  
  
Или вот.  
Папа работает, категория «служащий». Это 300 г. хлеба. Довоенные дрова кончились. Ходили с папой в поисках топлива. В его ведении несколько почтовых отделений Куйбышевского района (ныне Центрального). Все они закрыты, ключи у папы. Открывали, ломали дощатые стеллажи для посылок, грузили на саночки. Везём домой. Живём уже в нашей четвертой квартире, в доме 21. Здесь у нас буржуйка, на изразцовою красивую печь дров недостаточно. Журнал «Нива» уже сожжен.  
  
Как-то незаметно для меня умер мой старший брат Игорь, он жил на ул. Чайковского 36, с остальными Кузнецовыми. Помню только, как в конце 41-го пришла к нам одна из моих сестёр, сказала, что они очень голодают. У нас с мамой было полмешка мелкой картошки, которую мама выменяла на папины золотые часы у «подруги» из Рыбацкого. Мамы не было дома и я насыпал кулёчек картошки... Мама не ругалась, когда я ей сказал.  
  
Из Московского района с Благодатного переулка  
к нам приехали наши родственники Коптяевы, тётя Тоня и её сын, мой ровесник Володя. Муж тёти Тони, дядя Костя, до войны работал на «Электросиле», сразу с началом войны отправили на фронт политруком, и тётя Тоня скоро получила извещение, что он «пропал без вести». Район Благодатного стал фронтовой зоной, всех выселили, они попросили у нас приюта. Жили вместе около года, потом им разрешили вернуться домой. С Володей я ходил за водой к Неве, справа от Литейного моста была прорубь. Брали саночки, два ведра – хватало на два дня.  
  
Спуск к Неве – гранитные ступени, от постоянных выплесков из ведер обледенел, ступени еле угадывались. Поддерживая друг-друга поднялись с Невы, сели передохнуть. Запомнилось как в замедленной съёмке – по обледенелым ступеням пытается вползти человек. Измождённый, почти чёрное лицо. И руки, обмороженные руки с обломанными ногтями, цепляются в обледеневшие ступени. Вдвоём с Володей как-то помогли ему преодолеть последние ступени. Лёг с нами рядом. Отдышался. Сказал, что всех по его статье (?) выпустили из Крестов – кормить нечем. Перевели мы его на другую сторону. Пошёл, держась за стену дома, завернул за угол, на Литейный.  
  
Хорошо помню весну 1942 года. После жестоких холодов пришла бурная весна. И вот на улицах города, заваленных сугробами снега, на залитых нечистотами лестницах, дворах, появились люди. Были, конечно, призывы по радио, в газете, но и сами горожане понимали – надо чистить город. Помню как мама долбила лёд ломиком, а я лопатой соскрёбывал его на мостовую.  
Ещё помню наш первый опыт огородничества.  
  
В 1942 г. жителям города разрешили копать, сажать и даже снимать урожай. Папе дали 100 м2 где-то у Муринского, и даже какие-то семена. Мы приехали (трамвай уже туда ходил), расковыряли землю, посыпали её семенами и осенью приехали искать урожай. Не нашли.  
  
В 1942 году на Невском был промтоварный магазин. Торговали всякой всячиной, оставшейся от мирного времени и предметами блокадного быта – коптилками (пузырёк с трубочкой, в которой фитиль), мешочками с кремнем, кресалом (стальной брусочек) и трутом – кусочком ваты. Светящиеся значки разной формы, даже с рисунками.  
  
Итак, 1943 год. Плохо, но помню. Учусь в 32-й школе Октябрьской железной дороги. Учителя хорошей старой закалки. Я комсорг школы. Комсомольская нагрузка – ходим на Московский вокзал: чистим пути – дороги, ведущие пока в никуда, но верим, «не пропадёт наш скорбный труд». На запасных путях стоит вагон адмирала Трибуца, командующего Балтфлотом.  
  
На урок приходят два морских офицера и очень вежливо говорят, что после нашей помощи по расчистке путей из адмиральского вагона пропала ручка из наборного оргстекла (в то время редкость) и было бы хорошо, если бы она вернулась на своё место. Кончилась эта история вполне благополучно.  
  
1 мая я иду обедать во Дворец пионеров, как ослабленный здоровьем комсомольский актив. С ул. Жуковского на ул. Маяковского, по Невскому и до дворца через Аничков мост. Над Невским в небе разлетаются рыжие облачка – немцы бьют шрапнелью – салют для горожан. Народу, правда, не очень много – на Невском интервал между людьми в среднем метров 100. А вот на трамвайной остановке у Садовой (трамваи тогда ходили по Невскому) хуже – артобстрелом накрыло выходящих из трамвая. Дым от разрывов, тела... И я иду обедать.  
К теме: очень быстро человек привыкает к страшному. Я проходил мимо гор замерзших трупов, мимо разодранных снарядами тел... Наверное, срабатывает защитный механизм, иначе как бы можно было жить после всего виденного.  
  
В 1943 году папе дали для огорода 100 м2 около Мельничного комбината им. Ленина и 100 м2 прямо в чаше стадиона им. Кирова. На стадионе мы посадили картошку. Там, кажется, почва была – один песок, а картошка получилась хорошая, мешок или два собрали. У мельницы посадили семена овощей (где-то выдали). Ездили, ухаживали. Но стали воровать. У меня, уже имеющего опыт с боеприпасами, возник план защиты – проволоку к мышеловке, и вместо сыра – боевой патрон. Один раз сработало, жертв явных не было, а морковку мы собрали.  
  
Как все нормальные мальчишки, любил всё что стреляет, взрывается. Узнав, что на Ржевке взорвался целый эшелон с боеприпасами, добрался туда с приятелем. И верно, какие россыпи мы там нашли. Мы ходили по грудам винтовочных патронов, по «макаронам» от артиллерийских снарядов. Набили полные мешки. Дома у меня было несколько бутылок, заполненных порохом из винтовочных патронов (и не лень было расшатывать пулю, высыпать порох). У моего друга по школе, Юры Тамарского, в его большущей квартире на Невском мы стреляли из немецкого автомата вдоль коридора в поленницу дров. В школе (да простят нас учителя) мы устраивали сплошное хулиганство: к боевому патрону на картонке крепили пулю от другого... В общем, не буду раскрывать наших технологий, но всё это в нужный момент взрывалось, грохало: взрывались печки в классе, во время уроков гасли лампочки, взлетало фонтаном содержимое чернильниц. Даже стол преподавателя иногда становился объектом нашего террора. Так что, несмотря на всё страшное, жизнь продолжалась. Люди верили, надеялись, любили, да и смеялись и шутили тоже. Вера, Надежда, Любовь нам помогали.  
Обстрелы. Бомбёжек нет, не помню. Весной меня направили с группой школьников в совхоз «Парголовский». До сих пор не понял, почему из нашего класса только я туда поехал. Правда и то, что медалью «За оборону Ленинграда» был награждён (из нашего класса) лишь я.  
  
В Парголове работалось хорошо – то ли лето тёплое, то ли здоровье поправилось. Ходили в поле через «ложный аэродром».  
  
 Теперь, когда мы едем от города к Выборгу, слева от Парголова тянутся поля, пересекаемые КАД. Здесь и был этот аэродром. Выкашивались в траве «взлётные полосы», даже стояли три настоящих самолёта (видимо, списанных), даже валялись настоящие бомбы (одну мы долго катили, чтобы положить посреди дороги). На одном из этих самолётов я как-то лежал (на крыле), наблюдая вялый воздушный бой.  
  
Кстати, рядом, ближе к Левашово, был настоящий аэродром, и дважды мне довелось присутствовать при крушении наших летунов. Однажды над нашими головами (мы жили в здании клуба совхоза) пронёсся самолёт —истребитель «Кобра» (Англия), два шасси по бокам, третье впереди, как бы завис в воздухе и рухнул метрах в 100 в лесок около клуба. Ребята подбежали, лётчик лежал в метрах 20–30 от самолёта. Буквально рядом находился полевой хлебозавод – несколько бараков, отгороженных проволокой. Оттуда выскочил офицер и, стреляя вверх, кричал разойтись. Лётчик Горячёв, его фамилию мы прочитали на обелиске – на кладбище, расположенном неподалёку от нас (теперь оно, наверное, слилось с Северным). Из этого самолёта мы потом вытаскивали ленты снарядов и крупнокалиберных патронов. Взрывали.  
  
Второй, тем же летом, ЛИ-2 (наши «Летающие крепости») на моих глазах вдруг резко снизился при подходе к настоящему аэродрому в Левашово, пропорол брюхом поле, переполз дорогу к станции Парголово и уселся по другую сторону дороги. Подбежав, мы увидели торчащие из стен канавы бомбы, не очень большие, еще увидели лётчика, говорящего всякие неприличные слова, а второй лётчик не говорил, но охал и лоб у него был уже забинтован. Этот самолёт увезли быстро, а первый так и остался в лесу. Я спросил у командира ЛИ-2, почему бомбы не взорвались, и он уже вполне даже вежливо, объяснил почему.  
Летом 1943 мы уже не голодали. Есть хотелось постоянно, но вполне терпимо. Мы уже играли, лазали по деревьям, взрывали снаряды из «Кобры». Один раз меня навестил комендант Парголова Кузьма Ильич, принёс буханку белого хлеба, потом мы сходили к армейскому сапожнику, и он сделал мне хромовые сапожки – в то время «писк моды».  
  
Работники хлебозавода (который был рядом с нами) подсовывали под проволоку хлеб, маскировали травой, мхом – для своих, которые потом это изымали. У нас же была своя игра – отыскать эти тайники.  
  
Работали мы на совесть. От прополки до уборки. Тогда мне довелось ходить за лошадью с окучником – окучивать картошку. Работа тяжёлая.  
К Новому году был приглашён во Дворец пионеров на ёлку. Было светло, тепло, интересно. Были подарки, был фильм «Три мушкетёра» в комедийном варианте, были в гостях союзники – американцы, англичане, вместе фотографировались.  
Жизнь постепенно налаживалась. По дополнительным талонам всё чаще что-нибудь выдавалось – то американская тушенка, а то и плитка шоколада.  
И наконец, январь 44-го года.  
  
III  
  
СНЯТИЕ БЛОКАДЫ  
Когда вечером 27 января я шёл по Жуковской, Литейному, Белинского к Марсову полю, то уже чувствовал: происходит что-то грандиозное, момент истории.

Тогда мне казалось, что у самого города лопнуло терпение, и он заговорил. Непрерывный, нарастающий гул орудий навис надо всем городом на несколько часов. Город ревел, но на улицах не рвалось снарядов, не рушились дома. Город пошёл в наступление.  
  
К Полю стекались сотни людей, по левой стороне стояли десятки орудий, было темно, лишь мерцание синих ламп уличного освещения. И вдруг всё взорвалось, рявкнули пушки, тысячи ракет осветили всё: и город, и радостные лица. Тогда ещё не было праздничных фейерверков, но стреляло всё – и пушки на Марсовом поле, и на Неве, и непрерывные огни ракет. Ракеты пускали и специальные установки, и солдаты из ручных ракетниц – с улиц, с крыш домов. Казалось, весь город полыхает огнём, отыгрываясь за 900 дней страха.  
  
Понемногу налаживается жизнь. Есть электричество, но нормы очень жёсткие, помнится, 4 кВт/часа на месяц. Перебрались в свою довоенную квартиру, дожили до Дня Победы. Сестра Женя стала работать медсестрой – сначала в Театре комедии, потом в поезде «Ленинград – Москва», потом на санэпидстанции, в Горздраве. Я закончил школу, поступил в ВАМУ. В 1948 году отменили карточную систему.  
  
Память о прошлом ещё крепка, но многие детали уже стёрлись. Пропали куда-то папины письма с фронта, выброшены за ненадобностью мелкие предметы блокадного быта. Наш дом на ул. Жуковского закрыли на капитальный ремонт. Жене с дочкой Ниной дали квартиру в Весёлом посёлке. Переезд из центра города, а потом «перестройка» сломали психику моей сестрёнки, она не смогла принять новые правила жизни, войти в нее...  
  
Свою жизнь в блокаде я вспоминаю скорее с интересом, чем с ужасом... В совокупности с моей многолетней работой в Арктике, где тоже хватало всякого, жизнь вспоминается как борьба с трудностями, а это интересно.  
  
Прошло уже больше 60 лет, казалось бы, всё должно зарасти. Но бывает ночью, при бессоннице, вспоминаются фрагменты войны:  
  
Вот я иду по нашей улице и впереди из фасада дома вырывается огонь, дым, грохот. Снаряд.  
  
Мы с мамой в проходном дворе у чёрного хода в магазин увидели высыпавшуюся из мешка крупу. Немного, перемешанную с дорожной грязью. Собрали руками, потом мыли, пекли лепёшки. На зубах хрустит песок.  
  
Проезжает грузовик, набитый замороженными трупами, везут на кладбище. Сверху сидят женщины.  
  
Зимой 1942 г. загорелся дом 5 по Жуковской. Пожар возник на верхнем, 6-ом этаже. Дом выгорал сверху до низа несколько недель – тушить было нечем. В «Ленинградской правде» короткая статья – рабочий такого-то завода оставил сушиться валенки у «буржуйки», уснул, из-за этого дом загорелся. Рабочий приговорён к расстрелу.  
  
На Невском (тогда еще Проспект 25-го октября), угол ул. Марата, упала очень большая бомба, но не взорвалась, ушла в асфальт глубоко. Летом 1942 года, когда уже пошёл трамвай, бомбу стали извлекать. Огородили забором, вплотную к трамвайным путям. Трамваи вдоль забора ходили «на цыпочках».  
Весной 1942 года мама впервые за блокаду сварила кашу – пшённую, жиденькую. Какой вкусной она показалась!  
  
Дрожжевой завод научился делать дрожжи чуть не из опилок. Продавались они без карточек, на вес, а также в консервных банках. Их мы жарили на сковородке. Гадость, даже по тому времени. Летом 42-го из рогатки убил ворону. Сварил. Бульон мутный, мясо жёсткое, невкусное. Несмотря на голод есть не смог.  
  
Мальчик из нашего класса умер от голода уже в 1943 году. Он продавал свою пайку хлеба у булочной угол ул. Восстания и Невского. Хвастался толстой пачкой денег... Кстати, после снятия блокады вышло постановление – все сделки в обмен на продукты объявлялись незаконными и, при наличии доказательств, вещи и ценности возвращались владельцу. Не знаю, действовал ли этот закон.  
  
После войны тысячи пленных немцев провели колонной по Невскому. Люди смотрели молча, особых эмоций не было. Ленинград быстро восстанавливался, работали немецкие пленные, объект огораживался забором, часовые стояли. Немцы – народ дисциплинированный: война проиграна, значит подчиняйся.  
Со временем режим охраны ослаб. Однажды летом к нам в квартиру позвонили – немец, щупленький, тихий (они восстанавливали дом напротив нас). Вежливо попросил чего-нибудь покушать. Моя суровая мама насыпала ему мешочек картошки, примерно 2 килограмма. На следующий день он пришел и вернул мешочек – выстиранный, чуть ли не выглаженный. И ничего не просил, только сказал спасибо.  
  
Таких отрывков много возникает в памяти.  
Начался другой этап жизни. Учёба, интересная работа, семья, дети, внуки, старость.  
  
Близкая память подводит, ищу очки, сидящие на носу, забываю имена давно ушедших друзей, но помню детство...  
Мороженщик с голубой тележкой на углу Жуковской и Маяковского. В формочку кладёт круглую вафлю  
с именами: Игорь, Лена, Боря, Дима, Серёжа, Алёша... Ложкой сверху мороженое, еще вафля – Дима, Таня, Люда...  
Живу...

2009 г.  
  
(Автор воспоминаний Борис Иванович Кузнецов ушёл из жизни в 28.11.2010)

© Copyright: [Митрий Хитрый](https://proza.ru/avtor/mitriyx), 2014  
Свидетельство о публикации №214101201717